

ОГЛАВЛЕНИЕ

Серафима.....	3
Утопиться	15
Горчичное пятно.....	24
Первые джинсы.....	33
Дневник баррикад.....	42
Love is.....	51
Пули по бульварам.....	71
Несмотрины.....	79
Адвент VS менора.....	85
Чай со слоником.....	104
Три зимы.....	120
Вилис.....	136
Первый сон.....	145
Фридмановедение.....	154
Город призраков.....	166
Леках.....	194
Встретимся в израиле.....	209
Да(й)ни(с).....	239
Огненный крест.....	255
Навсегда.....	263
Домой.....	283
Жизнь про сон.....	298

СЕРАФИМА

«Жиидс, жиидс!» — донеслось до Серафимы сквозь полуденную дрёму. «Надо же, уж почти полвека с проклятого сорок первого минуло, а всё мерещится!» — подумала старушка и зябко укуталась в платок. Продавленное кресло недовольно скрипнуло. Своей выпирающей пружинной оно не деликатно напомнило хозяйке про их общий возраст, хотя это было явно лишним, Серафима уже давно не молодилась. Скромная квартирка на Стрелниеку, как и её хозяйка, знавала лучшие времена, и кресло было под стать им обеим. «Риебигс жидс!»¹ — донеслось с улицы. Нет, не показалось.

«Господи, там же внучек, Дайнис!» — встревожилась Серафима и ногой попыталась нащупать левую тапку. Та, как назло, не только упала с ноги, но притаилась, вероятно, под креслом. Махнув рукой, старушка поковыляла к окну в одной тапке и дырявом шерстяном носке. Ну и что что июнь — последние годы она ходила в шер-

¹ Мерзкий еврей (*латышский; здесь и далее прим. автора*).

стяных носках круглогодично. Её кости постоянно напоминали о том, что сама она давно уже старалась забыть, да тщетно — каждый больной сустав скрипел тем сырым погребом, где муж прятал её от фашистов долгих три года.

Картина, открывшаяся взору Серафимы, сначала её удивила, потом обрадовала, а позже — ошеломила. Удивительно было то, что кричали и издевались не над её дражайшим внучком Дайнисом, что радовало. Ошеломило, что это он, вместе с ещё двумя здоровыми парнями, прижал к стене дровяного сарая парнишку лет двенадцати, кучерявого очкарика абсолютно семитской наружности. «Даник!» — обмерла Серафима. Припертый мальчишка был как две капли воды похож на её навсегда двенадцатилетнего племянника. «Сколько же ему сейчас-то было бы, нашему Данику — Даниэлю? Наверное, своих сыновей такого же возраста, как этот мальчик, имел бы. Зато нашлось бы кому дедов молитвенник отдать! „Бы“, одни только „бы“...» Она попыталась разглядеть святую книгу, десятилетиями прозябавшую за буфетным стеклом. Стоявшие в глазах слезы не давали сфокусироваться и, лишь скатившись по щекам, проводили взгляд через фотографии улыбающихся дочерей, внуков, строгий портрет мужа, статуэтку балерины и прочие фарфоровые безделушки к искомой книге. «Тате-тате¹, — вздохнула старушка. — Так и не передали молитвенник наследнику, некому!»

¹ Папа-папа (*идиш*).

Кутерьма сорокового года с самого начала не предвещала ничего хорошего. Вот так всю зиму ждешь лето, но оно приползает в твой город на броне советских танков. Тревожно, неясно, что будет да как, и только девичье любопытство подуживает: «Грядут перемены!» А перемены кидают пожилых родителей в скотный вагон и высылают в Сибирь с сотнями знакомых, малознакомых и совсем незнакомых евреев, латышей, русских, белорусов, немцев. Да что там сотнями — тысячами, одних евреев три с половиной тысячи из Латвии тогда выслали, а всего — пятнадцать тысяч латвийцев. Новой власти они не сгодились, а старой уже никогда не будет, это Серафима даже в свои девятнадцать понимала.

Её бы, наверное, тоже сослали, но она к тому времени уже несколько месяцев жила своим домом, наперекор всей семье выйдя замуж за Яниса. Смешанные браки тогда были событием редким и чрезвычайным, дающим возможность родственникам вдоволь посыпать голову пеплом, а кумушкам — почесать языками. Собственно, именно от этих увлекательных занятий и оторвала советская власть Симиных близких. Маму — на долгих десять лет, отца — навсегда. Умер на каторге Соликамских лагерей.

Не успел растаять на востоке душный дым тех советских паровозов, как на западе заревели моторы немецких танков, завывали бомбардировщики, затарахтели мотоциклы, и вскоре в родном городе Серафимы начали орудовать новые хозяева. В те несколько дней безвластия муж не пускал её на

улицу. Тут — бандиты, там — мародёры. Все родные и знакомые ей евреи разделились на две группы: одни стремились спешно эвакуироваться, другие спокойно дожидались новых господ, мол, и от русских освободят, и вернут в Латвию спокойную жизнь под сенью немецкого орднунга, в котором им, евреям, носителям немецкого языка, европейской культуры и обладателям интеллигентных профессий, непременно найдётся достойное место.

И те и другие столкнулись в те дни с жестокой действительностью — за отсутствием представителей законной власти в городах начали хозяйничать бандиты из числа местных националистов. В мирное время большинство из них были вполне себе обычными гражданами — кузнецами, дворниками, рабочими, даже учителями, а тут запахло кровью и лёгкой добычей. Сразу вспомнились обиды минувшего советского года: у кого лавку отобрали, у кого родственников сослали, а кому просто хорошенькая еврейская соседка отказала, — и руки потянулись к топорам и обреза́м.

Молодой муж сидел тогда с Серафимой дома, на красавицу свою любовался да стерёг, а то в соседнем доме у евреев «похозяйничали». И, стыдно сказать, некоторых похозяйничавших он сам знал, с одним даже учился.

Сестра жены в те дни заходила повидаться — он на неё глаза стеснялся поднять, за своих было очень совестно. Сёстры тогда говорили между собой на идиш и при нём, хотя раньше при нём — только по-латышски, из уважения. А тут то ли

уважения поубавилось, то ли обсудить им надо было что-то своё, еврейское. Чего уж тут скрывать, сестра латышского родственника с самого начала невзлюбила, как и вся родня, но приличия соблюдала. Положа руку на сердце, она признавала, что парень он хороший, добрый и работающий, беззаветно любящий Серафиму, жаль только, что... Ну, словом, понятно.

С чего её родня так взъелась на зятя, Серафима не очень понимала. Хотя им с сестрой с детства внушали, что замуж можно только за еврея, их родители никогда не были особенно верующими. О кошерном питании и соблюдении прочих традиций заботились не слишком, детей называли не-еврейскими именами, образование давали в немецкой гимназии, дружили с семьёй латышского профессора и немецкого архитектора, мамина лучшая подруга вообще была полькой, а как дочка полюбила латыша — гевалт¹.

Но так всё споро закрутилось — выпускной, свадьба, советская власть, немецкая, — что на налаживание семейных отношений решительно не осталось ни времени, ни возможности. Между тем в Латвии понемногу воцарялся немецкий порядок, и еврейские германofilы приуныли. Оказалось, что новой власти совсем не нужны еврейские банкиры, профессора, юристы и музыканты, пусть даже и с мировым именем, но зато вполне сгодятся их квартиры в шикарных домах в центре Риги.

¹ Караул (*идиш*).

Указы выходили каждый день и удручали своей непримиримостью к еврейскому населению: запреты на профессии, распоряжение сдать радиоприёмники, ограничение пользования магазинами, общественным транспортом, запрет на участие в тех или иных мероприятиях и, наконец, самый непонятный — переселение в гетто.

Местные газеты открыто подстрекали против евреев и кишели антисемитскими карикатурами, дворники присматривали в еврейских квартирах буфеты побогаче, а бывшие коллеги и соученики при встрече пренебрежительно отворачивались. Несколько месяцев постепенного и планомерного поражения в правах сжимали круг, выдавливая рижских евреев к Московскому форштадту¹.

Тогда, в сорок первом, накануне переезда в гетто, сестра, Сонечка, заходила к Серафиме попрощаться и оставить на хранение часть вещей, которые они с мужем в гетто брать не собирались, но были уверены, что те им ещё пригодятся. Они тогда даже немного повздорили. «Куда я всё это дену?» — возмущалась Серафима, оглядывая бессчётные коробки, коробочки и свёртки. Одних шляпных картонок было штук семь, а ещё перехваченные бечёвкой стопки книг, пластинки для граммофона, сам граммофон и даже модные журналы. Отдельно от прочих книг, бережно обёрнутая бумагой, лежала одна, прекрасно знакомая обеим женщинам. Это был молитвенник отца.

¹ Окраина города, где в конце октября 1941 года было создано Рижское гетто.

Красивое издание, Вена, 1892 год, обложка тиснёной мягкой кожи, изумрудная, с прожилками. Уж на что папа не был набожным, но этой книгой дорожил — от отца досталась. И если шёл на праздники в синагогу — всегда с ней. Расстался он с молитвенником несколько месяцев назад — в ночь перед депортацией отдал старшей дочери со вздохом, мол, сыну надо было бы, но раз на сына не сподобился, а теперь уже вряд ли, то прямо внуку передаст. И велел внуку Данику в тринадцать лет на бар-мицву¹ подарить, с наказом расти человеком. Кто мог тогда знать, как сложится судьба этой книги и где она окажется полвека спустя...

В самом большом свёртке лежали вещи племянницы, из которых та уже выросла. «Отдай кому-нибудь», — предложила Серафима сестре. «Ещё чего! — возмутилась та. — Я и так кучу вещей сына повыбрасывала, Даник мальчишка, не печалится, а вот велосипед свой всё забыть не может!»

Как раз за пару дней до этого прямо во дворе дома сестры произошла дикая история. Соседский парень, с которым Даник играл ещё с тех пор, когда оба возились в песочнице, подошёл к нему в тот момент, когда Даник отвязывал велосипед, собираясь по маминому поручению к молочнице, и... потребовал его отдать. Вот так, даже не отнял силой, а потребовал. Тебе, сказал, всё равно скоро не нужен будет. «Да и по какой причине у тебя,

¹ Религиозное совершеннолетие еврейского юноши, наступающее в тринадцатилетнем возрасте.

жида, велосипед, а у меня, хозяина, велосипеда нет?» Чего он хозяин и с каких пор, парень не общил, но толкнул Даника в ключицу так, что тот, слетев с велосипеда, пребольно ударился плечом о дверь дровяного склада, у которого держал дорогого мальчишечьему сердцу двухколёсного друга. Плечо ещё долго болело, и о занятиях скрипкой в ближайшее время и речи идти не могло, хотя учитель тоже переселялся в гетто и об уроках с ним договорились. Ключица стала синей, плечо ныло, Даник же был совершенно подавлен случившимся.

«А Ханночкины наряды знаешь каких денег стоили?» — продолжала убеждать Серафиму сестра. Стараясь говорить как можно более будничным, беззаботным тоном, она сбивалась и тараторила. «Мой Довид, между прочим, хочет ещё детей, когда-нибудь нас из гетто выпустят, толку нас там держать, может, ещё эти платица и пригодятся. Но если у вас раньше родится девочка, берите и носите всю эту красоту на здоровье. Там есть изумительное красное пальтишко с белым меховым воротничком и платье одно особенное — длинное, французское, помнишь, такое с бантиком на кокетке? А ещё бархатное, бордовое, с кружевной оторочкой, смотри...» Она торопливо попыталась развязать свёрток, но узел не давался. Посмотрев на сестру, Серафима разрыдалась. Молодые женщины обнялись и простояли так минут двадцать, всхлипывая, целуя друг друга, глядя по волосам, спине, рукам — успокаивая. Это был последний раз, когда Серафима обнима-

ла сестру. Они ещё несколько раз виделись, уже когда та была в гетто, но колючая проволока объятиям не способствует.

Серафиму в гетто не сослали. Сначала мужа вызвали в комендатуру на беседу и настоятельно посоветовали развестись. «Надо же, немцы, а идеологическая обработка у них не хуже, чем у русских. Настоящий политпросвет!» — пыталась тогда пошутить молодая женщина, когда муж рассказал ей о той беседе, но мужчине было не до шуток — мысли занимало очередное предписание явиться в комендатуру.

— Слушаю! — рявкнул на следующий день затылок служащего комендатуры, даже не предложив Янису присесть. Лицо хозяина кабинета уткнулось в утреннюю газету и подняться на посетителя не соблаговолило.

«Хм, как к тебе обращаться-то, — размышлял Янис про себя. — Офицер? Да какой ты офицер, так, хвост собачий...» Янис смущённо прокашлялся.

— Эм-м, господин...

— Господин секретарь городской комендатуры, — снисходительно ответил затылок, лицо оторвалось-таки от газеты, посмотрело на Яниса и, явно узнав, скривилось, мол, опять сейчас начнут упирать на старое знакомство да клянчить, а как им всем помочь, да и вон их там сколько, полная приёмная, а я один.

— Валдис? Мы же вместе учились, ты пришёл, когда я на третьем курсе учился, правда, после первого года учёбу бросил...

Глазки служащего злобно сузились.

— Не бросил, а прервал, наверное, скоро возобновлю, когда порядок здесь наведём. Я так понимаю, что господин инженер — как раз один из тех, кто нам в этом мешает. Повестку подай...те. Что тут у нас? Очень интересно. Ну присаживайтесь, долгие разговоры мне вести некогда, вон, люди ждут. — На слове «люди» Валдис кивнул на дверь, а само слово произнёс так многозначительно, что Янис понял, что относится оно к кому угодно, кроме него, врага нового порядка.

— Я не совсем понял, — смутившись начал Янис. — Тут написано, что это по поводу каких-то нарушений, связанных с моей женой, и хотел бы...

— Какая она тебе жена? — оборвал его чиновник. — Ты что, венчался с ней?

— Нет, но мы зарегистрировали брак официально, в загсе.

— Ах, о-фи-ци-аально, — передразнил Валдис. — Это, конечно, меняет дело. Она теперь и не жидовка, наверное.

Встав из-за стола, служащий прошёлся по кабинету, остановился спиной к посетителю, покачиваясь с пятки на носок, и наконец утвердив вес на массивных каблуках модных ботинок, не оборачиваясь выплюнул:

— Смог вот так вляпаться — умей и исправить. А исправить можно и даже нужно. Особенно теперь, когда мы освободились от коммунистической заразы, сами хозяева на своей земле и без пяти минут арийцы.

Валдис запнулся, ну хватил так хватил. Но быстро собрался, развернулся, прошествовал за стол и наставительно продолжил:

— Так вот, можно исправить. Даже разводиться не надо — эту отправляешь к своим, в гетто, получаешь справку, что она там, и всё — ни имущество делить не надо, ни алименты платить. Детей, кстати...

— У нас нет детей! — выпалил Янис, заметив, что говорит это с облегчением. Кто знает, что новые власти приготовили для наследников смешанных семей.

— Ну так тем более, — ободряюще произнёс Валдис. — Чего её вообще такую оставлять?

— Что ты говоришь?! — возмутился Янис. — Она что, котёнок приبلудный, чтобы решать, оставлять или в ведре утопить? И какую это «такую»?

— А ну, не смей мне тыкать в моём кабинете! — взвился «господин». — Жидовке своей тыкать будешь и коровам на хуторе. А тут мне чтоб порядок был! Смотри-ка — я на него время трачу, как с человеком разговариваю, а он мне возражать! Сам должен понимать, с кем связался. И последствия тоже понимать. Короче, на сегодня приём окончен, пойдя мозги собери, подумай, оставляешь ли эту, и если ума не хватит решить правильно и свезти её в гетто — приходи сюда в восьмой кабинет за предписанием манипуляции. Всё. Следующий!

Из комендатуры мужчина вышел как оплыванный, скажи кто-то раньше о его жене, как о падшей, «такая», или как про кошачий выводок

«оставить» — в морду бы дал не задумываясь, хоть и совсем по натуре своей не драчлив. А тут власть, официальный её представитель. И слово это гаденькое «манипуляция»...

Обо всём этом Янис жене не сказал, та и так переживала за свою родню, хоть и держалась бодро.

В те дни из деревни приехал мужнин отец, и, закрывшись на кухне, мужчины долго и бурно о чём-то говорили. Предмет разговора был понятен — Серафима не раз слышала своё имя, но подслушивать ей претило, и чтоб не стать невольным свидетелем чужой беседы, она ушла в дальнюю комнату. Закончилась встреча родственников мирно, свёкор передал деревенские гостинцы и приветы, многозначительно посмотрев на сына, сказал, что ждёт в гости, с тем и уехал. Кого ждёт, только сына или их обоих, она тогда так и не поняла и переживала. Серафима с мужем и знакомы-то были всего год, из них полгода женаты, и как в таких обстоятельствах он может себя повести — кто знает!

У неё не было никаких оснований Янису не доверять, но и особенно доверять — тоже. В браке недавно, детей нет, семья его приняла не так чтоб с распростёртыми объятиями, да и у самой характер не сахар. А главное, при новой власти её происхождение казалось преступлением, сводя на нет все заслуги. Даже странно было вспоминать, что пару лет назад она считалась завидной невестой — умница, красавица, из хорошей семьи и прилично образованная.

УТОПИТЬСЯ

Домой, в Ригу, они с мужем вернулись в октябре сорок четвёртого. Серафима была в положении, и оставаться на хуторе дальше казалось опасным, да и вести с полей сражений говорили о том, что немцам сейчас не до глупостей, и не станут они уже гоняться за беременной женщиной — одним из немногих уцелевших осколков разбитого латвийского еврейства. Герры офицеры срочно паковали личное имущество, изрядно раздобревшее еврейским антиквариатом и прочими ценностями, вывозили семьи и правили дорожные документы особо отличившимся пособникам. Да и мало ли прочих дел у людей на сломе войны?

Возвращение Серафимы осталось незамеченным ещё и потому, что на всякий случай предусмотрительный муж заранее позаботился о другой квартире, в доме, где соседи не знали их семью. Выменял? Выхлопотал? Серафима особо не вникала. За годы жизни на отдалённом хуторе она полностью доверилась своему мужу и его родне, тем паче что собственной у неё больше не осталось, и она об этом знала. Ещё тогда, в сорок первом, через пару недель после их отъезда в дерев-

ню, родные были расстреляны. Все, кто остался в Риге. И сестра, и её принцесса Ханночка, и не дождавшийся бар-мицвы Даник.

Дольше всех прожил в гетто муж сестры, Довид, хотя Серафима не знала, можно ли назвать жизнью тоскливые будни того, кто в одночасье потерял родителей, жену и детей. В отличие от многих товарищей по несчастью, стремившихся выжить вопреки лишениям и потерям, молодой, но уже поседевший мужчина целыми днями сидел на шатком стылом крыльце в одной лишь ещё мамой вязанной безрукавке поверх поношенного костюма. На тощем снегу он пытался разглядеть буквы, желательно родные, идишские, но можно и латышские, а то и вовсе не буквы, а знаки. Как пишут из рая, он не знал, но очень ждал весточку от жены, знак — в порядке ли они там, как устроилась, как дети. Как-то в середине зимы Янис, муж Софочкиной сестры, передал Довиду зимние ботинки — тёплые, основательные, на натуральном меху, а проку-то — Довид старался далеко от крыльца не отходить. Он не боялся пропустить возможность разжиться едой, не боялся холода и смерти, боялся лишний раз отвернуться, лишний час поспать и снега — очень боялся снега. Вот пришлёт-таки Софочка знак, а проклятый снег разметает, украдёт, похоронит, как похоронил... Нет, об этом Довид старался не думать. По весне вроде оживился, снег больше не грозил, да и на крыльце сидеть было теплее, разве что крыльцо было другим — оставшиеся сухие крошки латвийских евреев пересыпали в ещё более тесный мешок ма-